

Группоцентризм и историография

В докладе В.А. Шнирельмана (впрочем, как и в многих других его публикациях по схожей проблематике) дается всеобъемлющее, на наш взгляд, объяснение природы тех стимулов, которые более всего опосредуют незатухающий характер воспроизводства мифотворческих тенденций в постсоветских национальных историографиях и их экстраполяцию в учебную литературу.

К большому удовлетворению отметим, что доклад свободен от каких-либо эмоционально заданных следований (в последнее время это становится редкостью уже и для академических научно-публицистических практик), а тем более – каких-то явных или имманентных политико-конъюнктурных целеполаганий (что греха таить, подчас некоторые коллеги из СНГ, в основном из числа так называемых ультра-патриотов, уже априори пытаются, где надо и не надо, где есть и где нет, но непременно «выследить» и абсолютизировать в работах российских историков только политическую мотивацию, отказывая им в научно-познавательных замыслах).

Напротив, в докладе доминирует такая исследовательская процедурность, т.е. причинно-следственная аналитика, которая выстраивается исключительно в научном контексте, с апелляцией к новейшим (а не эпохи еще товарища Сталина) теоретико-концептуальным версиям, пионерному понятийно-категориальному аппарату (но не архаико-атавистическим дефинициям так называемой «марксистско-ленинской теории национальных отношений»). Убедителен иллюстративный материал, содержание которого, отметим кстати, выказывает читательской аудитории (точнее интернет-аудитории) высокую профессиональную культуру автора, его обширнейшую эрудицию, свободную ориентацию в диверсифицированном историографическом знании. Наконец, нельзя не отметить, что стилистику излагаемого материала отличает столь дефицитное для современной практики историографической полемики качество, как научная этичность и корректность.

В докладе раскрывается целый ряд аспектов своеобразного «исторического мониторинга». Но все они так или иначе являются дериватами проекта нациестроительства, который, собственно, и определяет генерализованный дискурс современной историографической динамики на постсоветском пространстве. Все, кто непредвзято почитают доклад, смогут убедиться, что разворачиваемая здесь факторная структуризация данного феномена в научно-экспертном отношении весьма компетентна.

Но в том-то и дело, что с этим согласятся лишь те читатели и заинтересованные профессионалы, понимание которых не «оккупировано» маргинальными аграрно-традиционалистскими ментальными стереотипами. А квинтэссенцией последних, как известно, выступает ориентация на группоцентристские ценности.

И именно вненаучный, эмоционально репродуцируемый группоцентризм актуализирует проблему достигаемости объективного описания исторического действия и, собственно, трансляции научно-адекватного знания в учебную литературу (и не только).

А поскольку группоцентризм воплощается во множестве модификаций и самых разных проекций, то проблема эта наталкивается не на какой-то одинокий «камень преткновения», а на их махрово расцветший «японский сад».

Вольно или невольно эту проблему соперещивают как аудитория, воспринимающая исторический материал, так и субъекты, конструирующие его.

Прежде всего, понаблюдаем то, что касается «конструкторов». Для начала обратимся к некоторым аналогиям.

Сегодня все мы подчас оказываемся свидетелями коллизии, когда откровенные агностики, возвращенные на десятилетних традициях воинственного советского атеизма, публично рьяно отрицают рациональность веры в Демиурга. Но, как бы перестраховываясь от «возмездия сверху» (как бы чего не вышло, как бы ненароком не накликал беды), они тут же смягчают свой нигилизм, неуклюже пытаются конвертировать только что озвученные рассуждения в мысли о возможном наказании, но исходящем от какой-то «роковой анонимности», неких возможных и даже фатальных метафизических сил, способных повлиять на волю индивида. Безусловно, это не более чем упрощенная, если хотите грубо примитивная, «зарисовка». Но в связи с нашими сюжетами мы можем увидеть здесь некоторые параллели.

Что мы имеем в виду? Как раз таки многосложную ситуацию с некоторыми «конструкторами» от историографии. Точнее – дихотомию их «исследовательского» сознания.

Соглашаясь, что этничность суть, в известном смысле, осознанный (или неосознанный) выбор, желание и согласие ассоциировать себя с неким «воображаемым сообществом» (по Б. Андерсону), многие исследователи под давлением группы и ее контроля, опасаясь своеобразного «морального террора» с ее стороны, невольно проводят в своих текстах примордиалистские установки на понимание этнонации как изначально заданной (запрограммированной) судьбы, некий чуть ли не биологически наследуемый стигмат, подобный врожденному инстинкту.

Такое амбивалентное (а точнее, наверное, маргинальное) «исследовательское» сознание можно, по-видимому, определить как «вынужденное». И вынуждено оно именно сильнейшим давлением и перманентным контролем «своей моральной общности», т.е. группы (в данном случае этнической группы). Такие исследователи могут смело обнажить свои действительные взгляды, но только в понимающей их научно-академической среде. Что же касается создаваемых ими публичных текстов, то здесь они опять-таки вынуждено придерживаются апологии совершенно противоположных, противоречащих их подлинным убеждениям, рационализации.

В отличие, скажем, от физики или какой-нибудь молекулярной биологии (прошу извинения) история – публичная наука. Поэтому, если тот же физик своими новациями и неординарным мышлением противопоставляет себя узкой аудитории таких же физиков, то историк, посягнувший следовать исключительно непредвзятому, сугубо научному и к тому же еще пионерному пониманию истории, вступает в конфликт не только с некими, более консервативными коллегами, но и с укоренившимися стереотипами массового сознания.

Рядовому читателю без соответствующей подготовки вряд ли удастся с ходу разобраться в математическом трактате или понять книгу по геологии. Исторические же тексты, если, конечно, они несложные, т.е. не узко специальные, а тем более, если это учебно-популярная литература, он вполне способен освоить.

Но поскольку, в силу известных причин, обыденное сознание массы группоцентристски ориентированно, то, понятно, что ее субъекты-читатели будут под увеличительным стеклом выискивать в этих текстах столь возделенную ими комплиментарность в отношении своей группы. В случае же, если прецедентов группонарциссизма в текстах не обнаруживается, а тем более, когда встречается критика референтной для массового читателя группы, с его стороны следует незамедлительный вердикт: автор текста – «плохой ученый». Если к тому же автор одной и той же идентичности с данной аудиторией, то не избежать обвинений в «предательстве нации» или, допустим «непатриотичности».

Находясь под таким мощным моральным прессингом группы, отдельные, серьезные в общем-то, исследователи начинают «взвешивать» цену «неудобной» научной принципиальности по сравнению с «выгодой», которую может принести их компромиссный конформизм. «Выгода» оборачивается бесконфликтностью и душевным покоем. «Цена» же научной принципиальности – моральная обструкция массового «человека с улицы».

Вот такой нехитрый дебит-кредит. К большому моему сожалению, я не знаком лично с Виктором Александровичем Шнирельманом. Но зная его научно принципиальные и граждански честные и смелые публикации по острым внутрироссийским проблемам расизма, фашиствующих группировок скинхедов и т.п., можно догадываться, что массовый «человек с улицы» встретил такие тревожно предостерегающие откровения отнюдь не «на ура». (правда, я сомневаюсь, что он вообще читал их). Да и маргинальная интеллигенция от «русской партии», исподволь зараженная бациллами ксенофобии (при одном из соцопросов представителей интеллигенции в российских городах 70% респондентов солидаризировались с лозунгом «Россия для русских»), скорее всего, не чувствовала себя апологетами В.А. Шнирельмана в данном вопросе.

Этим мы хотим сказать, что даже в Москве, с ее относительно урбанизированным населением, перед исследователями возникает проблема рискованного прохода между Сциллой и Харибдой. Что же тогда говорить, допустим, о среднеазиатских постсоветских социумах, где доминирует аграрное население, и где, следовательно, традиционалистский группоцентризм присутствует в массовом сознании гораздо более мощно.

Итак, как нам представляется, наиболее сильное давление на исследовательские и научно-публицистические практики оказывают именно стереотипы аграрно-традиционалистского массового сознания (контроль группы). Что касается государственного контроля, то, понятно, что в условиях развития демократических тенденций он утратил ту всеильную роль, коей он обладал в советском тоталитарном строе. Тем не менее память о его ужасах (моральные «избиения» историков, репрессии против них и т.д.) еще крепко сидит в умах некоторых исследователей.

Поэтому они, движимые различными мыслимыми и немыслимыми перестраховками, генезис, которых, повторяем, лежит в советском тоталитаризме, стремятся выстраивать свои тексты симметрично политико-идеологической конъюнктуре. Другими словами, работают у своего «верстака» с постоянной оглядкой на «государство», с опасением «просчитывая» его возможную реакцию.

Между тем, ожидаемая с опасением рефлексия, как правило, исходит вовсе не от официального государства, а от самонадеянно аффилирующих себя с ним отдельных маргинальных чиновников-бюрократов (которых, кстати, во все времена отличал сильно развитый перестраховочный инстинкт). Некоторые из них, самоуверенно и самовольно наделяя себя функцией единственных радетелей персонификаторов интересов общества/государства, начинают самоуповать ролью цензоров, третейских судей, а подчас и истины в последней инстанции.

А поскольку такого рода чиновники-маргиналы объективно соотносят свои действия с собственными, т.е. личностными маргинальными, аграрно-традиционалистскими установками, то не трудно предвидеть и их возможную реакцию на внегруппоцентристские тексты. Будучи до предела отягощенными императивами вульгарно-примитивного группоцентризма (этноцентризма, территориально-земляческой ориентации, корпоративно-элитарной клановости и пр.), такие функционеры очень часто превратно, мягко говоря, интерпретируют смыслы модернизации.

Провоцируемые внутренними консервативными мировоззренческими стереотипами, они явно или подспудно пытаются игнорировать конституируемую официальным государством ориентацию общества на понимание национальной идеи и смыслов нациестроительства не как сепаратной идеи той или иной самообособляющейся группы, а целеполагания всей гражданской нации, всего консолидированного социума.

Таким образом, самопроизвольный контроль чиновников-бюрократов и их давление (явное или потенциально ожидаемое) на исследователей и публицистов может иметь место. Поэтому последние, учитывая эти реалии, стараются, вопреки своим внутренним убеждениям, корректировать создаваемые тексты так, чтобы «вписаться» в нерациональные с точки зрения действительно научного видения истории интерпретационные схемы. При этом такого рода публицисты, будучи серьезными профессионалами, рационализируют, т.е. оправдывают свои чисто перестраховочные подходы ложно представляемые ими «высокими интересами государственности».

Несмотря на рассмотренные выше моменты, мы согласны с В.А. Шнирельманом, что идея написания интегрированных региональных учебников истории вполне реализуема. Тем более, что, например, в регионе Казахстана и бывших советских республик Средней Азии такого рода опыт уже имел место. Да и сегодня, т.е. в условиях независимости государств постсоветской Центральной Азии создание подобных прецедентов уже наблюдалось. И мы уверены, что они в дальнейшем будут иметь свое развитие. Предпосылками к этому служат общность исторических судеб, общая историческая память народов, проживающих на постсоветском пространстве Центральной Азии.

Важно, однако, чтобы авторские коллективы таких учебников истории руководствовались при написании текстов принципами культуры толерантности, а не группоцентристским эгоизмом (во всех его ипостасях), стремлением к некоему «историческому реваншизму» («национализации» или «этнизации» как можно более обширных территорий, историко-культурных личностей и героев и т.п.). И уже, конечно, над ними не должна довлеть какая-либо сиюминутная, превратно понимаемая

конъюнктура. Ведь принцип научной объективности был и остается фундаментальным императивом методологии истории как научной отрасли знания.

Профессор Абылхожин Ж. Б.